

Иван Коновалов

БЕЛАЯ МГЛА

Формаслов, 2022

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
К64

К64 Коновалов Иван

Белая мгла / И. Коновалов. — М.: Формаслов,
2022. — 80 с.

ISBN 978-5-6046172-7-4

*Книга издана при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации и техническом
содействии Союза российских писателей*

Вторая книга Ивана Коновалова включает в себя стихотворения, написанные за прошедшие три года. Первая часть её — пёстрый сборник, где кроме лирики есть песни, сказки и причитания. Вторая часть, озаглавленная «Пение и дым», представляет собой небольшую книгу стихов, посвящённую вопросам веры и неверия.

ISBN 978-5-6046172-7-4

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© И. Коновалов, текст, 2022
© Формаслов, 2022

Белая мгла

I

На Елагине желудей, как на дачах — яблок.
Мы гуляли с мамой, она собирала листья:
жёлтые, бурые или как шуба лисья —
всполохом, красные. Мама тогда озябла,
или, верней, у неё стали мёрзнуть пальцы,
но красота опада дубовой пены
стоила этого. Сумерки постепенно
прогоняли людей — загостившихся иностранцев.
Даже не гнали, скорей — не считались с нами,
у них начинался собственный, тайный праздник,
им не терпелось. Листья засохли в вазе:
за утренним кофе мы скупно менялись снами
и заметили это — листья совсем засохли,
образовав собой нечто вроде шара,
курчавой причёски француза Петра Ришара.
Так и стоят. Подарок хорош ли, плох ли,
но пусть остаётся на память от сентября —
зря, что ли, жёлуди зрели, листья желтели — зря?

Кто их клеил друг на друга, слой за слоем?
Обдираю старые обои.
И мне грустно думать отчего-то,
как невзрачна прежняя работа.
Слой за слоем... Что за люди жили тут?
Что за светоч скрашивал их труд?
Как их жизнь прошла меж этих стен?
Сколько было на веку их перемен?

— Здесь отходит, а вот здесь стони пузырь.
— Слушаюсь! — Сам знаешь, егозы
на минуты не оставить же, ну Саш,
как-нибудь доклеи без нас, домажь.

Вот доклеили и, рады делу рук,
сели чай пить. Плещутся вокруг
их надежды, будто в солнечной воде
рыбки юркие. И не бывать беде.
Не бывать ей, не бывать ей никогда,
а бумага пожелтела за года:
надо бы на кухне подновить...
Жизнь сгорела, как вольфрама нить
в лампочке от резкого скачка
напряжения, и новые в очках
линзы круто преломляют свет.
Жизнь проходит, смысла в этом нет.
Оттого-то грустно мне сдирать
старые обои, как тетрадь
с прописями детскими листать,
прежний почерк свой не узнавать.

С чего начать? Я помню, рисовал
восьмёрку на большом листе бумаги:
вверху овал, внизу другой овал,
мимоза жёлтой россыпью и флаги,
знамёна, лозунги... Едва впитав гуашь,
торжественно вручался ватман маме.
В цветочных лавках — день больших продаж.
Мы в гости шли, и праздник вместе с нами
бродил по улицам, не знал, куда идти
по захмелевшей оттепельной каше,
как лёгкий ветер, прихотлив и тих,
как будто женскою рукой украшен.

— На что похожа лестница? — На доску
стиральную. — Допустим. А ещё?
— Тельняшку видел в синюю полоску?..
И на часы. Ступени — это счёт

секунд. Шлепки холодных босоножек —
на лето. Дым и голоса — на храм,
где бьются птицами и замирают тоже,
к побелке потолка и краске рам —

как пестик с лепестком нагара — спичка
так хрупко прикипела, прогорев,
а батарея — на погоне лычки —
висит, даря казённый обогрев.

Нет, не на храм, скорее на пещеру,
где гулко и прохладно, где рука
охотника тигриного ощера
нарисовала страх в момент рывка.

На жизнь похожа лестница, на память,
чей призрак хищен и тяжелокрыл,
но если, оскользнувшись, станешь падать,
хватай не перья — тростники перил.

Жара такая крепкая, что птицы,
к земле припав и перья распушив,
клюв держат нараспашку, как птенцы.
Велосипедов блестящие спицы
сливаются в одно. Карандаши
рисуют марево, и, уронив венцы,

понуро никнут цветики. Залив
мелеет: крабы, кракены и спруты
переползают посуху в Неву,
а солнце, жёсть на крышах раскалив,
стекает оловом на их маршруты,
оставив в небе только синеву.

Парилка, воздух мокрый, впрочем, чаем
я по-ташкентски не пренебрегу,
глядишь, меняя торжества мотив,
подует ветер, к вечеру крепчая...
Как устрица в отлив — на берегу
разлёгся город, створки отворив

Неравновесен мир. Движение звёзд
разочтено — созвездья врассыпную;
так семена вылуцживает клёст,
то здесь, то там гася одну из звёзд,
так тьма их ест — и будто всё впустую.

И будто зря людские племена
у туров отвоёвывали степи!
В глазах коров — туман и пелена
скрывают то, что налито сполна:
такую скорбь, что человек не стерпит.

Неравновесен мир. Не отыскать
былых столиц, засыпанных песками;
в болотах тонет настланная гать,
но Петербургу всё-таки стоять,
земле — носить Петра, держать гром-камень.

А значит, что-то можно уберечь,
пускай не навсегда, но тем ценнее
табличек глиняных живая речь...
Не пламенем, так временем обжечь
сырую глину — всё-таки умеем.

Огромных окон не жалея свет
(поди такие вымой и протри!),
стоит бассейн не железобетонной
корявой несуразицей углов —
нет! лёгок, как студенческий макет
из ватмана и тонкого картона,
двенадцативольтовой изнутри
подсвечен лампой. Как в садке улов,
в нём плещет ребятня, но, подходя
по осени, когда темнеет рано,
промокшим от холодного дождя,
увидишь в нём дворец царя Ирана
(от сырости не прорастут ли жабры?),
но стражи нет — входи, пришелец храбрый.
В фойе почти что женский клуб. Там ждут
детей усталых, выкупанных, мокрых;
русалочки, невысохшие, в жгут
власы скрутила дева у зеркала,
а полотенца пятернями смоквы
ребячьи головы с усердьем трут.
Но в раздевалку из большого зала
спеши, обутый в шлёпанцы, а там
воспрявший уголок социализма,
где каждому не много, но вполне
достаточно дано, и по делам
судить придётся, ибо вся одежда,
как многожды прочитанные письма,
в пенальном шкафчике, в шкатулке, взаперти —
и голым дальше следует идти.
Уравнивают пули на войне,
в походе — алюминиевая ложка,
а здесь — животный, первобытный стыд
(отринутый, под шкафчиком лежит).
Ещё не плавать — рано! Но воды
уже пора с волнением причаститься.

Здесь моются на разные лады:
один притих под душем: заграница
ему сквозь белый шум передаёт,
куда шпионский целит самолёт.
Другой мочалкой трётся докрасна,
и вот, от пота, мыла и от пены
вода, преображаясь постепенно,
морской покажется, хотя была пресна.
— А скоро ли купаться? — Погоди.
Сначала шапочку надень, а во-вторых,
бассейн там, за дверью, где гусиной
покрытый кожей, я стоял, в груди
предчувствуя томление, и воздух
(пропущенный удар влетел под дых)
весь вышибло, когда залез я в воду.
Свет отключив, все звуки погасили.
Я плыл. Мне было очень страшно плыть.
Я, задыхаясь, чувствовал скольжение
и кафельные обживал углы,
где мелких волн роилось отраженье.
Пытался отдышаться, но потом
страх утонул. Ты слышишь дребезжанье
сирены? Окунайся, твой черёд.
Пока я чуть шатаюсь и рассеян,
режь сажеными взмахами бассейн
сирен не слушай, волны объезжай, не
задумывайся слишком наперёд.

— Зиночка, сделайте кофе, заладил дождь,
и потому весь день тяжёлая голова.
— Куда потащил конфету? А ну *положь!*
Обедаем скоро, уже *без пятинадцати* два!..
А вы бы, Владимир Леонтьевич, чайку
выпили лучше? Кофе, оно ж вредит.
Вот вы хотя и поправились в отпуску,
а всё равно у вас нездоровый вид.
— Зиночка, кофе..
Мальчик смотрел на ливень,
сбивавший пыльцу деревьев в морскую пену,
берёзовый сук в просветах листвы, как бивень
нарвала, нырял и вновь утыкался в стену
слепого дождя, стоящего над Москвой,
вдали проступали смутно стволы секвой:
из лиственной тучи отвесной воды столбы
падали и чертили собой стволы
хвойных громад. Над картой осадков Аравии
в домашней ермолке сидел академик, кофе
вступал на правах гобоя
в полную запахов кухню.
Дождь самодовольничал, будто его оправили
в оконную раму. Сколько воды ещё рухнет,
посралив водомёты каскадные в Петергофе,
не знал академик, а над Аравией голубое
небо звенело — расплавленное стекло —
и неодолимо его влекло.

Атомные станции мощностью в тысячи мегаватт
воду солёную опреснят.
И от них, как ржавчина на железе,
зелень по меди окислами ползет.
Верёвки — гряды акаций — крепкая сеть
не даст злой птице бури взлететь.

Чтобы сдержать песок, площадь разбить на квадраты
или шестиугольники. Зубы сжаты,
руки толкают грейдера рычаги,
готовя зелёного пламени очаги,
корни скрепляют тысячелетнюю сушь,
пыльной пустыне — хорошо бы принять душ!
Раньше-то и пригоршни воды меж дырявых пальцев
не удержала бы, нищенка, а теперь
корни акаций, гифы грибниц,
золототканой работой тысячи мастериц
покрывает вышивкой раскалённое пальце,
дождь — бессмысленный дар, потерю из потерь,
просыпался манной
(как манка из банки —
редко, обильно и бесполезно) —
теперь, будто пробка в ванной
для воды пресной, —
зелень акаций под голубою бездной.

— Владимир Леонтьевич, ну как льёт-то!
Вот бы всё это к вам, туда, в пустыню.
Вы оставьте пока работу, обед простынет.
«Разбудила сонного идиота», —
академик подумал, ермолку на лысом темени
поправив: — Зиночка, разве ж это работа!
Так, мечтаю, вовсе забыв о времени.
Непрозрачными стали стёкла от пара, от супа, пота,
но, верно, дождь кончился — сквозь проталины виделось далеко.
— Предлагают использовать в народном хозяйстве китовое молоко!
Секвойи исчезли до будущего дождя
и качнули гривами, уходя.

Темна вода во облацех,
а в чайнике светла,
в золе не ищут золотце,
мохнатая ветла
своей седою гривой
качает на ветру,
ракитник рядом с ивой
росой блеснёт к утру.
Заварка чая с мятою
напомнит вечера,
где ласковыми матами —
собаку со двора,
и дачными работами
встречают облака
а в них — медовый, сотами,
в них крупный дождь, лакать
собака тучу стала бы,
да туча высока,
ну так и ходит шалая
шубейка обветшала
по дачникам пока.

Это магазин
ивовых корзин,
и другие вещи здесь не продаём.

Тут лозу плетут,
это важный труд!
Ходим резать прутья мы на водоём.

Ивой пруд порос,
медный купорос
плещется в воде, когда сияет день;

в джинсовом рванье
на купание
девушки приходят и ложатся в тень;

чешут волосы,
по траве — роса,
месяц в чёрный пруд стекает серебром;

режем мы лозу,
девушки ползут,
пруд воняет отвратительно, как бром;

омуль белобрюх,
прокричит петух,
мы не досчитаемся товарищей;

срезана лоза,
белые глаза,
в общем, братцы, работёнка та ещё!

Как жаберную щель на остановке,
автобус дверь открыл и пригласил
меня шагнуть в него с бетонной бровки

туда, где, мёртвых лошадиных сил
удерживая норов, скрежетало
сцепление глухо, где мотор гасил

любые мысли лязганьем металла.
Мы тронулись — людей десятка два,
и разный шум — до нового привала.

Кто растолковывал свои слова
соседу, кто молчал, кто телефону
кричал чего-то, слышное едва, —

так Ярославль не слышит Персефону,
когда зима в ночах теряет день.
Девчонки, что шипучие сифоны,

со смеха прыскали, сморила лень
двоих мужчин, от печки разомлевших,
среди толпы покачивалась тень

жены с младенцем. Колыбельно певших
младенцу губ не слышно было мне,
так — пара звуков, чудом долетевших.

Цыгане громко спорили, в окне
высматривая что-то: кочевую
звезду свою цыганскую зане.

И радостно мне было, но чему я
был рад, не знаю: скарб цыганский пах
благоуханно, запахом чаруя;

блестело тускло золото впотьмах
на их руках, униженных перстнями,
и локоны распущенные взмах

голов чертить пружинными тенями
стремились, будто дерева листва.
Старуха с внуком, бывшая меж нами,

речь завела про тайну рождества.

Старик, я помню, крысу убивал,
и кровь её текла на тротуар,
покрытый пылью, на асфальт, на солнце.

Он с ровной злостью бил её, и трость
мелькала в воздухе. Не довелось
убийств мне видеть и не доведётся,

бог даст. Но это помню я:
как, в воздухе ногами семеня,
пыталась крыса убежать от смерти.

Я понимал — решительный старик
был прав, но я спиною слышал крик...
Кто скажет: крыс не жаль — тому не верьте.

Другой раз мой автобус ехал за
грузовиком — как отвести глаза? —
тот полон был говяжьими костями.

Я ощущал тяжёлый, свежий смрад
и на развилке был, признаться, рад,
что тронулись мы разными путями.

Но будто, раскалившись докрасна,
коснулась мяса на костях струна
души моей — и закалилась в мясе;

и книжные страдания людей
я стал читать спокойней и грубей,
но мир стоит, по-прежнему прекрасен.

Я рос во время разочарований,
когда восторг от лопнувшей препоны,
от воздуха, ворвавшегося в дом,
инфляцией закашлялся. Купоны,
кому-то кем-то розданные. Зданий
обглоданные кости, и содом,
внезапно разрешённый, — на экране,
и черви, копошащиеся в ране
живого тела. Списаны на лом

ещё вчера летавшие машины...
Чеченский молох требовал людей,
в запоях выли глухо и черно,
бродя по зазеркалию идей,
ища халтуры, дела, дармовщины.
На видиках — кассеты, где кино
про тренировки и единоборства;
развалы, барахолки, скопидомство
грошовое — такое плотно

рисует, но было же иначе:
плацкарт, дорога на Урал, собака,
озёра, слепни, хвойные костры
и клешни в речке пойманного рака.
Мы с мамой, с крёстной ездили на дачу
сажать картошку, ныли комары,
в вагончике мы дождь пережидали,
в болотцах — ёршики рогоза, дали
синее были и глаза — острые.

Встречаю иногда красивых старых женщин:
не знаю — были ли и прежде хороши? —
но дальше чем года, телесного тем меньше
и тем отчётливей строение души.

Индиго и шафран, мозаики и ткани,
румяный терракот расцветивали храм,
но грязновато-серый выщербленный камень
в руинах кажется величественней нам.

Смыкают небеса обрушившихся арок
недосведённый свод и золотят столбы,
а день курдяв листвой и нестерпимо жарок,
и есть в развалинах присутствие судьбы.

Присутствие судьбы — вот что есть в старых лицах;
пытаясь угадать в них прежние черты,
смотрю на них, как на черновика страницы:
слова зачёркнуты и вновь пережиты.

И вновь пережиты античных изваяний
стоящие в саду безмолвные черты,
и мраморный покой, и тень воспоминаний,
и седины, и взгляд бессмертной простоты.

Обычный горшок и ссохшийся ком земли,
в котором три стебля, корни пустив, росли...
Да впрочем — какие корни! Когда я ком
рассыпал в руках, камнями, трухой, песком

подстеленную газету собой черня,
шуршал тот, сквозь пальцы падал, а у меня
остались в ладонях чахлые три ростка
бог знает какого комнатного цветка.

В горшок посадил их сызнова и полил,
но, как промокашки, выпившие чернил,
висели, увянув, тряпочки на стеблях,
надежды не зная и не ощущая страх.

Не самый дурной, однако ж, я садовод —
растут вон, перетерпев череду невзгод,
цветут и пластины солнечных батарей
лучам подставляют — только свети и грей.

Ах, вот бы и мне не помнить ни бед, ни зла,
без удержу бы душа, как бурьян, росла,
на первую ласку радостно отвечать
хочу я — и ничего, ничего не зная.

Останемся дома, где свет и вода,
тепло и посуда,
где книги и сеть, и уже никогда
не выйдем отсюда.

Скрипят половицы, и чашек парад—
отрада для взора;
мычаньем и свистом ответчу не в лад
паркету, фарфору.

Я по телевизору видел китов
на плоском экране,
последний француз, их, Жак Ив-Кусто,
искал в океане.

У них ультразвук, у меня интернет—
поёт ноосфера,
и смерти в ней нет, таков уж завет,
пасхальная вера.

Не выйду из дома, коралла полип
в скелете из гипса,
предшественник высунулся и погиб,
и я теперь вписан.

Многоэтажки ясней блещущим воздухом остеклены,
ярусы веток держат солнечные батареи,
и фотосинтез, нисколько не старея,
создаёт древесину и листья из газа и белизны.
У каштанов весной распускаются листья, как
у марсоходов — расчехлённые лепестки антенн,
и зажигаются свечи каштановые затем,
как в соборе на пасху: празднично гонят мрак.
Что за работа бесчисленных трудодней!
Гифы грибниц под землёй разрушают камни
и горных пород частицы — в сети, пока не
доставлены до древесных сырых корней.
Как на узлах дорог вырастают вокзалы,
так вылезают грибы, расталкивая опад,
и марабут арабский — клюваст, зобат —
глядит: не лягушка ли голову показала?
Нет, не лягушка — и, вновь погружаясь в сон,
аист уходит в тайну восточной притчи.
Коротко лето, как радостный смех девичий,
шумен разноголоснейший унисон.

Жукам пришла пора зажечь фонарь на брюшке
и в темноте огнём подмигивать друг дружке,
а птицам — пировать, а детворе — ловить
и в склянках светлячков, как грошики, копить.
Но это где-то там, в степях, на юге, летом,
в кино, не здесь, а здесь — а здесь зима и снег,
гирлянда на окне дрожит пугливым светом,
и смотришь с улицы в мороз — а там ночлег,
хлеб с маслом, чай, тепло и разговор на кухне,
который то взлетит, то, заигравшись, рухнет, —
вот что встаёт, вот что рисуется в окне,
где лампочки горят в изменчивом огне.

II

Гроза в степи — безделка не безделка,
а небо раскололось, как тарелка,
вечор уж мне малым-мало спалось...
Я дёгтем сна недоброго замаран,
под чёрным небом брошена Самара,
и кремль грызёт царёва пёсья свара,
как кость.

Зачем про сон сболтнул я есаулу?
Тоска виною волжской захлестнула...
На юг лады, товарищи! Разбой
пойдём чинить — и нас не выдаст Каспий!
С царём московским бесполезна распря!
Айда за золотом и счастьем, раз не
домой.

Бумагами дотошного учёта,
как птицами, не знавшими полёта,
казённые набиты сундуки.
Управа на мятежного скитальца:
темно коптит и прогорает сальце,
и писарь с болью разминает пальцы
руки.

Напор без разума — ум без отваги;
без рейтаров бессмысленны бумаги;
усидчивый бухгалтер мятежа—
хитрец, и только, если взгляд обложен,
как день — туманом. Под мужицкой кожей
когда живёт идея, пусть расхожа, —
свежа.

Бобровым шапкам выдан Стенька Разин;
переупрямил сонный дьяк в приказе.
Ну что же, дьяк, потешь себя, потешь.
Для песни вольница нужна и — воля,
бумага, труд и волжское раздолье,
и за Самарой всполохами в поле —
мятеж.

Что думал самолёт, когда его
ужалила под левое крыло
на дурака летящая ракета?
Что видел он, помимо вспышки света?
Он падал, удивляясь — отчего
воздушных струй упругое крыло
не чувствует и нет привычной дрожи;
он сам как будто сделался порожним,
он падал, и в падении ему —
«ещё чуть-чуть — и всё же дотяну...» —
мерещилась постель аэродрома;
ему мешала сонная истома,
внезапная усталость им владела,
и быстрое серебряное тело
воздушной рыбы падало на дно,
разлитой ртутью мрело полотно
воды миражной в каменной пустыне;
и то была не смерть, а чёрный смерч,
кулак, схвативший самолёт, — засечь
то не могли приборы в Палестине.
О чёрный смерч, о дымный столп огня,
что думал самолёт в зените дня,
горевший, как в обряде погребенья?
Свист ветра — лучше — двигателя вой,
он гул огня почуял под собой
и в гуле различал слова и пенье.

Каракорумский хан поутру выпивает блюдо
на холодке парящего молока;
ложу цветка подобна его рука,
видя щербинку края, он не может не улыбнуться.
Но улыбка сходит с его лица, едва синева эмали
обнажена и мучает наготой,
в своей пустоте и блеске подобна той,
что висит над шатром. Он велит, чтоб ему подали
трубку с гашишем, треух и халат, чей шёлк
не иной — василькового цвета узбекской краски;
он сидит в шатре и идёт из шатра. Подпаски,
ещё затемно выгнавшие коней пастись,
видят, как хан вместе с дымом уходит ввысь,
к той синеве, где диск соколиным глазом
жёлто горит, и кажется, что ему
ничего не стоит в войлочных мягких туфлях
так и шагать, хоть ноги его опухли
за ночь, до той поры, пока не погрузит во тьму
Каракорум Всевышний. А то и дольше.
Хан выбивает трубку, кладёт в пригоршню
смолянистый гашиш, и уголёк жаровни
замирает в испуге, взятый сухими пальцами,
он от страха сжимается, как черепаха в панцире,
но, положенный в трубку, горит хорошо и ровно.

Хан идёт над долиной так высоко, что время
для него представляется слабым порывом ветра.
Вот пятка его, как прежде, упёрлась в стремя;
вот под ним жеребец, что в холке чуть выше метра —
он летит над травой, вытянулся, распластался
и несёт на спине зараз и юнца, и старца,
бег его неутомим, и раздуты ноздри.
Хан выпускает стрелу междоусобной розни
и видит, что та нахлебалась дымящей крови.
Хан видит солнце и звёзды одновременно, кроме

того, он видит, как мимо носятся самолеты
на тонких серебряных птичьих крыльях.
Хан обращается к звёздам, дабы те для него открыли
смысл увиденного, и, будучи звездочётом,
он понимает, пусть несколько смутно, — что там
сказано, в этом узоре небесных искр.

Хан в голубом халате сидит в шатре,
в сонных клубах гашиша он плавно тонет,
блюдец с щербинкой лежит у его ладони,
узоры ковров шевелятся на одре.
Дым заволакивает синеву эмали,
он видит страну, которую не видали:
там верблюды не плавают над землёй,
из уважения разве касаясь её ногами,
там ветер и солнце не норовят пергамент
из кожи наездника выделывать, там семьёй
не считают табун, погонщиков, облака,
там не знают вкуса сбродившего молока,
там всю жизнь проживают, не взявши поводья в руки.
Мужчина бы умер в подобном краю от скуки.

Юная Чичиган играет на лютне в дальнем углу шатра,
в синей пустыне неба незримо летят ветра,
и Чичиган понимает, *что* ищет её отец;
жилы натянутых струн звенят от её касаний,
пальцы её ловки, они знают, что делать, сами,
и движение их — серебряный блеск колец.

Каракорумский хан доволен её игрой,
его взгляд провалился в бездну пустого блюда,
он видит людей — одежд их причудлив крой.
Хан так далеко зашёл, что может и не вернуться.
Он видит телеведущего с круглым черепом
и мягкими жестами вкрадчивого кота —

тот распевает, а в небе пустом и перистом
сверкают ракеты. Жадная пустота,
жадная пустота за его спиной:
телеведущему страшно смотреть назад,
и без всякого звука сосут, обступают, ноют
съёмочных камер выпученные глаза.

Каракорумский хан тяжело трясёт головою,
Чичиган играет, гашиш прогорел дотла.

Пальцы замёрзшие грел над жаровней,
вьюга вилась, заметая шатёр:
Цезарь ладони сухие растёр,
мельком подумал, что сделался ровней —

тайным родством, достоверней и кровней
связи отцов, матерей и сестёр,
связи солдат, обступивших костёр, —
сонму богов. Полотняною кровлей,

слабой защитой углей и навеса
он от простуды берёгся, носил
смелое сердце и кашель в груди.

Горный лежал перевал позади,
а впереди — объективность процесса,
взлёт и предел человеческих сил.

Эх, а вот бы был я пряничный,
я висел бы на дереве —
кто-то бы мне радовался.
А так, глядишь, повесишься,
а радости только врановым.
Умные они и хитрые,
всякую пададь чествуют:
слава тебе, скажут, млекопитающее,
эко жиру нагулял для нас,
экий ты дородный и вкусный.
Для того ты и родился, глупенький,
чтоб висеть тут на верёвочке,
висеть да покачиваться,
нас кормить, когда мы голодны.

У охотника Вучича в деревне
девушки с собачьими головами:
то ли кто беленой отравил колодцы,
то ли так повелось от царя Гороха,
а только в деревне к тому привыкли
и в уста целуют собачьи морды.

А у Вучича матушка — словно солнце,
и лицо её — что ни есть людское,
разгрызать не любит бараньи кости
и поёт тихонечко так, не воет.

Оттого-то не весел охотник Вучич,
оттого-то ропщет, — судьбина злая! —
потроша и ощипывая тетёрку.
Что за радость ему от такой невесты,
у которой чуть что — заведутся блохи?

Потому-то Вучич в леса уходит
и живёт, орехами, мёдом, дичью.
Но протянешь ли долго в лесу без крова,
если в стужу вороны с вершин деревьев
в чёрных перьях замертво быются оземь?

Вот приходит Вучич в приморский город,
где стоят корабли, как купцы пузаты,
где хватает работы и крыс хватает,
и где девушки — словно цветы лесные:
их от взглядов людей и от взглядов солнца
укрывает трава, сиречь мамки-няньки.

От работы тяжёлой стал Вучич чёрен,
от вина стал взгляд его словно туча,
но одну уж накрепко полюбил он,
и она его от себя не гнала.

То подманит его, ну а то ошпарит:
уйди, мол, Вучич, в свою деревню,
уйди отсюда, собачья морда,
что тебе среди людей делать?

И тогда разозлился на бога Вучич,
страшен стал он, звери его боялись,
нанялся он ратником к господарю
то ли греков бить, то ли турок резать.

Десять лет под парусом ли, в седле ли
десять лет сражался в походах Вучич.
Когда стряпают мясо, помельче рубят,
ну а Вучича можно как есть жарить —
иссекли враги его, изрубили.

Но добыл он золото и наложниц,
а убил он скольких — со счёту сбился,
и вернулся в город и плюнул в рожу
той, которая то ли его любила,
то ли нет. Поймёшь их! Собачья морда.

Возвратился домой он, в свою деревню,
замерла деревня, как перед бурей.
Вучич матери дарит златые серьги
и янтарными бусами осыпает.
А турчанки одежду ему стирают
и еду готовят по-басурмански.

Тут жениться задумал охотник Вучич
на какой-нибудь девушке из деревни,
только девушки страшно его боялись
и скулили жалко, сватов завидя.

Вучич взял верёвку и в чаще леса
на суку приладил петлю большую,
влез в неё — от тяжести сук сломился:
нет уж, Вучич, не время ещё прощаться.

Оттого-то Вучич сидит и плачет
под ветвями чёрной огромной ели.
Но какая-то дева к нему подходит,
говорит спокойно: не надо плакать,
подымайся, Вучич, пойдём со мною,
у меня под рябью речною тихо,
у меня ерши, караси и щуки
каждый день к столу, а сомы усаты
мне прислуживают, мне жемчуг приносят,
мелкий жемчуг речных, мхом поросших устриц,
у меня сокровища и преданья,
у меня утопленниц стаи рыбы —
с ней под воду тихо уходит Вучич,
и вода, омывая его, чернеет.

Темна вода во облацех,
светла в горах руда.
Земля вскормила молодцев,
как прежде — никогда.
С кремнями и кресалами
в сверкающих глазах,
удачливыми малыми
с руками пятипалыми,
врагам своим на страх.

Дожди клубятся тучами,
жилкуется руда.
Грозowymi, трескучими
вспоила их вода:
когда ныряли с пристани,
река любила вид
красивых и бесхитростных,
с улыбками игристыми,
не терпящих обид.

Железными прожилками
сверкают перуны.
Зачем взрастили пылкими?
Конечно, для войны.
Конечно, для величия,
что ценят меж людьми,
затем и перья птичьи им,
что — выжжем всё и вытопчем! —
и крылья за плечьями.

Дочке в школе прочитать задали,
да вот маюсь и не знаю, надо ли:
прочитаешь много — поседеешь рано...
Ай, у нас дома ни Библии, ни Корана,
ни Маркса, ни Ленина, ни Упанишад.
Там, наверху, и без нас как-нибудь порешат,
а мы, кума, ни в бога, ни в чёрта, ни в азбуку Морзе,
но, вишь, старшенький умер от передоза,
так уж в этот раз думаю: не прочесть ли?
Вот бы младшей жить не в почести, так по чести,
так что ты дай-ка с полочки мне, кума,
горюшка, горюшка от ума.

Эй, добрый старик, эй, Зенги-баба,
на кого посмотришь, к тому судьба
тёлочкой ластится, языком лижет:
подпусти ближе.
Охочих много до твоего взгляда,
им одного надо:
чтобы ты поприспальней посмотрел,
и вот уж овец — что в колчане стрел,
и щиплют траву коровы,
тяжелоголовы,
и осёдланный жеребец,
под уздой бубенец,
под седлом кисти шелковы,
на копытах подковы.
Ай, Зенги-баба, эй, Зенги-баба,
да чего тебе на меня смотреть?
Я бедней раба,
что ни день — борьба
за истёртый медяк, и еду — на медь.
Вот бы разбогатеть.

Слушай, моё богатство, слушай, мой змееголовый верблюд:
ты ведь знаешь, как чёрств и чёрен рабочий люд,
сам ты стар, и проку с тебя мало,
зарезу на мясо, вытоплю сало,
шкуру сниму и сеном набью.
Мои мысли — как шерсть твоя: грязными колтунами,
я тебе скажу, и останется между нами:
видишь, как чёрен чифирь в плюшке?
Подожди немножко —
будет лохань от крови твоей черна,
но что тебе, старый? ты же и так со сна
уж который год глаз не продерёшь!
Зарежу тебя, пуцу под нож.
Но посмейся, посмейся, старый,

не узнаешь, что дальше стало,
так теперь расскажу:
я тебя погружу
вот на этот горб, на свою спину
закину.
Мясо съем, сало продам,
ну а чучело, знаешь сам,
не тяжелее сена, которым набито!
Кровь солью в корыто.
Понесу тебя на базар — удивятся люди:
чтобы бедняк ехал на верблюде,
это они видали,
наоборот — едва ли.
За шумят, заголятся, и слушок,
как от мяса тухлого запашок,
до Зенги-бабы донесёт,
а уж на что Зенги-баба любопытен!
Не утерпит он, скажет: всё,
посмотрю на такое событие.
И пойдёт на базар на меня смотреть,
а мне только того и надо.
Не монетами будет медь звенеть,
будет мычать, будет гудеть
коровьих боков тяжёлая медь,
круторогое моё стадо.
А одна корова
будет змееголова,
как ты, мой старый верблюд, как ты.
Кровь из корыта вылакают коты.
Вот я чай допью, а всевышний отправится вечерять,
будет темно, он захочет спать,
я исполню, что сказано наперёд, —
глаз ещё не протрёт.
А на базаре добрый Зенги-баба,
святой заступник Зенги-баба,

пускай не смотрит, как голытьба
в обносках бродит.
Я сказал вроде:
кости твои собаки сгрызут,
разожгу в добряке любопытства зуд
(грузное бычье стадо
от одного взгляда!).
А если, послушай, пошлёт не коров — овец?
Не худо бы и овец,
с их точёными копытцами,
с их густым руном...
Чаю, чаю бы напиться мне
перед сном...
А не даст и овец —
конец.

Говорят, в Каире есть торговец,
продающий разные безделки
вроде бубенцов и колоколец:
чередой узорные тарелки,

и кувшины кованые шейки
тянут, будто гуси за пшеницей.
С ним, бывает, горький кофе шейхи
пьют, за тем и выбравшись в столицу.

Честны его меновые гири,
дремлет он и не боится кражи,
много лет торгует он в Каире,
ничего он до сих пор не нажил.

Потому что скуку на учёность
он меняет, брезгуя кумаром;
он удачу продаёт за робость,
счастье он раздаривает даром.

Крылья в поворотах наклоняя,
воздухом — в Каир по полукружью,
а иначе как я поменяю
то, что есть, на то, что мне так нужно?

В том-то и дело, что всё происходит исподтишка —
волос за волосом, не вина же в том гребешка,
что не в чем теперь ему путаться, застревать?
Ложись, говорю, в кровать.

А раз не ложишься, слушай, что говорю:
путана жизнь, посмотришь по календарю —
там праздники,
то безбожные, то в подрянике,
а всё равно страничка к страничке клеится,
жизнь, как дорога, скатёркой стелется,
катится, бестолковая, валуном с холма...
Надо мужицкой хитрости, барского ли ума,
чтобы не камнем, а свиристёлочкой с хохолком
выпорхнуть из пригоршни сдавленным хохотком,
чтобы уж как-нибудь мимо ангелов, мимо точёных пик,
мимо их танков сверкнуть бы, как резкий крик,
и спрятаться в вату облака, милый мой.
Спи, говорю, не бойся, не плачь, не ной.
Всё равно уж время последнее настает:
пшеница колосьями вниз, как свекла, растёт,
совы летают днём, воробьи — хвостами вперёд.
Куда бы и спрятаться — в кущи, к хвощу, к лещине,
женщине ли под юбку, в сапог к мужчине,
тише воды стоячей, ниже травы в покос,
лентою виться между девичьих кос...
А ну как девичьи косы рука расплетать полезет?
Куда бы и деться... То бог, очевидно, грезит,
вот всё и зыбко, неверно, сумрачно, как во сне...
Пожалуй, за летом следует быть весне.
Ты, главное, книг не трогай, от них вся блажь:
как читаешься, выйдешь товарищ наш —
слова тебе не скажешь, а ты уж сдашь!
Ай, не читай, не надо, только уж не читай,
лучше пойдём дорогою на Алтай,
там, на Алтае, полно потаённых мест,

бог нас не выдаст, если свинья не съест.

Женишься там на хозяйке грибной горы
или горы малахитовой — выбирай:
там их без счёта, пока ещё до поры.
На то он тебе и Алтай.

А в книжках такое пишут — душе не жить!
Зудеть начинает, выть, как болящий зуб,
там так и пишут: борись, не хитри, не жидь,
не бойся ни пламени, ни воды, ни поющих труб;
пишут там, что человек человеку брат,
что каждый трудиться должен по мере сил,
попросят отдать рубашку — а ты и рад,
хотя её толком даже и не носил.

Каждому, пишут, свечку зажгут в мозгу,
потому что ученье — свет, неученье — тьма,
но я и без них — как семечки ем, лузгу
сплёвываю, ну то есть знаю, как жить сама.

А если прочтёшь, так пропало, пиши в псалтырь,
в требник пиши, в часослов, в катехизис тож —
всюду пиши пропало. Прочтёшь — пузырь
мыльный живёт и воздуха чует дрожь,
как чуть подсохнет — лопнет; вот так и ты
будешь дрожать от ярости и сгоришь:
где там те ангелы, пики,
где там их ясные лики,
где грохот их танков? Ночная пустая тишь.

Спи, ничего не помни, не знай, не жди,
ясенем стройным листья колышь и спи,
солнце сквозь ветви — стрелами, чистой водой — дожди,
пыль придорожная, засуха, жар, слепни

—

всё принимай, смиренному бог подаст,
снегом покрытая мышь не ломает наст,

барсук из норы не вылезет просто так;
спи, мой хороший, и жди потаённый знак:
вот как воротятся наши,
там и попляшем.

Программист Валера пишет на Си-плюс-плюс,
для него утечка памяти — будто флюс:
он пальпирует код и чувствует — да, вот здесь
есть.
— Ну-ка, прогоним тестик — точно же, чёрт возьми!
В кружке Валеры — много часов возни:
кофе зрел на плантациях, потом его собирали,
сушили, мололи, жарили, паковали...
Валера не глядя пьёт этот чёрный дым,
запускает отладку — куда там ведут следы?
Так, улики, мотивы, вот тут от подошвы пятна...
Инвалидация кэша! Ну, всё понятно.
Дело закрыто. А впрочем, сравненья хромы
и многочисленны, будто закладки Хрома.
На сегодня хватит, надо ещё в спортзал:
становой тяги — тренер ему сказал —
не заменят ни брусья, ни излюбленный твой турник.
После удачной охоты Валера сник.
Его контора десятый год пишет финансовый инструмент,
Валере до этого, в общем-то, дела нет.
Главное, что его алгоритмы работают, как дифуры,
как большие склады, куда едут ночные фуры
с грузом кофе, по морю приплывшего в Ленинград.
Алгоритмы работают споро. Валера рад.
Иногда он негромко думает (нет, ещё тише):
вот мы едим и едим — каждый день —
сотни тысяч — едим,
и ведь это всё оседает на серверах...
Не машинный код, не подножный прах,
а карьерные самосвалы, мечтательные БелАЗы,
алгоритмы умеют видеть нечеловечьим глазом —
это третья природа, ей от роду меньше ста,

45

Мне нужно утром выгулять собаку
и съесть яичницу или творог.
От терминала к облаку порог
переступив, я мирозданье знаку

до ночи буду переподчинять.
И с чем сравнить? Я будто тку ковёр,
но прихотливый травяной узор
пустынный дух обязан исполнять.

И только так: ему невнятна речь,
орнаменты ковра ему понятны,
и вот я тку — и цветовые пятна
должны его покорности обречь.

В десятках тысяч рук стучат коклюшки
клавиатурных клавиш, навсегда
вплетая разум в кремний, в провода,
вливая дух, как из бутылки в кружку.

Так человек становится собой,
освобождая разум, размыкая
звериной плоти плен: с другого края,
уже не человек идёт на бой —

великий антитезис. Но пока
вот там ошибка, в тридцать пятой строчке.
Закину в стирку простынь и сорочки,
пойду гулять, глядеть на облака.

Я во сне бродил, вижу — лес, а там
всё в тенётах, будто в каждаеньи храм:
белый дым, прозрачный воздух, виссон,
пауки повсюду — таков был сон.

Лес дышал и свет из себя точил,
белый свет был пойман в паучьи сети,
и, прорехи в ткани едва приметив,
их латали труженики-ткачи.

Инженеры и программисты, мы,
будто лес, силками оплетены,
в сети ловим свет, языком машин
схематехнику разверстав души.

И ухватим, вычислим, сеть верна,
мы латаем дыры, не зная толком,
как устроено всё целиком... И только
лес был тих, таинствен и полон сна.

Паучиха, вот тебе человек!
Прошерстишь реестры библиотек,
растворишь и заново соберёшь
в том лесу, где света и лапок дрожь.

IV

Без навигатора было бы сложно, но с телефоном
велосипед в погоду и непогоду
годится и катится. Солнечный шар плафоном
матового стекла погрузился в воду,
халатом укутался облачной белой мглы,
неярко, но пристально смотрит во все углы.
Шины взрезают лужи ветхозаветным
велением бога, который раздвинул море.
Велосипедисты водителям не заметны,
любой перекрёсток — съезд на развязку горя,
так кажется маме, но что же теперь, не ездить?
Дребезг и брызги, доставка уже на месте.
Не успеем за полчаса — ваш заказ бесплатно.
Волка — педали крутящие — ноги кормят.
Мир запредельно прост: всё развёз — поезжай обратно,
и откровенно избыточно всё, что кроме.
Но человек — вихрастая недоучка —
больше, чем привод к педалям, еда, получка.
Внутри капюшона сменяются сотни лиц—
привереда щёлкает пультом, выбирает канал;
балахон и рюкзак, агрегатор, вращенье спиц...
Ленин об этом, кажется, что-то знал,
даром ли он сидит, погружённый в сквер,
через который едет навстречу ему курьер.

Целый день, как маленький зверёк,
суетился — вдоль и поперёк
я оббегал скудную делянку:

вымыл пол и выстирал бельё,
стало пахнуть свежестью жильё.
До заката дел и спозаранку.

Утром дождь был, к полудню пекло.
Заменял разбитое стекло —
так бывает: трескаются в раме

стёкла, только дёрни посильней,
раму перекосит — вот уж в ней
паутинки блещут веерами.

Из дневного мелкого труда
ничему не выдержать года:
съём обед и скатерть замараю;

даже исцелённое окно
всё равно не вечно, всё равно
не через окно дорога к раю.

Вечны только глупые стишки:
книгу выпущу, зашью в мешки
полиэтиленовые, в заводь

опущу, и пусть лежат на дне,
рыбьей поручу хранить родне,
пусть читают — не всегда ж им плавать.

Блоков бетон, панельная пятиэтажка,
клён близ неё на три ствола из корня
вырос и держит сумрак ветвистый тяжко
сучьев зелёных. Он-то его и кормит.
Кто этот дом построил, в какие годы?
Кто посадил этот клён, краснолапый прутик?
Может быть, комсомолка таскала воду,
чтобы мужчины месили раствор, и груди,
хлопковой тканью стянутые, ходили
от дыхания быстрого и оттого, что в поле
строили дом. Ковшами большими рыли
тракторы котлован. Было ль так дотоле —
стройка меняла болота и палисады,
блоки железобетона держали стрелы
башенных кранов, необъяснимо рада,
девушка песнями души рабочих грела;
строили дом и думали: то-то въедет
в эту квартиру семья, то-то праздник будет,
и никакой поющей не нужно меди,
труд состоит из подвигов, жизнь — из буден.

Жилья настроили: светло в нём и отрадно!
Куда в погожий день? Все ходят в парк.
Там старый пруд, там рощица. Нарядно
сверкает лампочками карусель,
фрегат тёр нос о пристань, но просел,
открыл кингстоны и ушёл во мрак

(прогнал от старости — тогда его убрали).
Пруд ивами и камышом оброс,
вокруг него устраивают ралли,
катая на машинах малышей,
и от воды здесь несколько свежей
гулять в жару и ждать трескучих гроз.

Здесь удят рыбу и считают уток,
девчонки сонно держат под уздцы
коней и пони, и довольно жуток
вид коневозки крохотной, куда
под вечер тех введут за повода,
хоть упираться станут и резцы

показывать, большие отгибая
разорванные губы, — всё одно.
Ах, в гриве лента вьётся голубая...
На роликах гоняет детвора,
цветёт каштан, когда цвести пора,
а солнце ищет илистое дно.

От прочих в людной суматохе парка
я был неотличим. Нас всех катил —
скупающих и ноющих, что жарко, —
в тяжёлых водах времени поток,
как огоньки во мгле — вон тот подмок!..
А рядом с каруселью щёлкал тир.

Стены побелку слабо осветив,
мерцал огонь как бы в пруду сквозь тину,
но уголь превратил дугу в хребтину,
второй дугою брюшко очертив.

И тускло полыхнула чешуя
христовой рыбы: шлёпнув по извёстке
хвостом осклизлым — весело и хлётко —
в глаза нырнула, брызгами шумя.

Озёрами блестящими в ночи
казался взгляд, Христос в нём плавал рыбой,
и я, заплакав, брата обнял, ибо
теперь мы оба были без личин.

Чужой мне город делался родным
— пойдём, я покажу тебе общину, —
его, едва знакомого мужчину,
и огонёк лампадки вместе с ним

сглотнуло подземелье; поспешив
вослед, я думал: «Будут пересуды,
поскольку люди те же люди, всюду
(вожатый мой был статен и плешив),

но будет служба, будет разговор,
и таинство присутствия незримо
исполнится; дух не покинет Рима,
Господь от нас не отведёт свой взор».

*

Как христиане злополучных лет
живут поэты — церковью и кругом,
анафематствуют и теплят свет,
по тайным знакам угадав друг друга.

В городе людном я взгляд уловил нечеловечьих глаз:
печаль в нём была и что-то такое, что не понимало нас, —
выпростав плечи из штукатурки, застряв в кирпиче по грудь,
юноша с девичьими чертами как будто следил мой путь.
С птичьим вниманием пустоватым греческие глаза
пали на площадь — груз винограда не выдержала лоза,
та, что пила из крестильной чаши, где отражался лик
тысячей стёклышек, грозно зрящий со сводов своих базилик.
Как смотрят фаюмских портретов лица! Ангелами томим,
Врубель, который был сам как птица, давал очертанья им;
время модерна ушло, фасаду к чему теперь мой двойник?
Сойди, постарайся расправить крылья, которыми ты поник.
А может, я, этой наскучив жизнью, поднимусь до твоей немоты
и, руки ломая, застыну гипсом, пока оживаешь ты.

Распался сон. И молчаливый сонм
наяд в простынках плыл по редколесью,
а в ветхокрылом мокром поднебесье
усами шевелящий плавал сом.
О баловство росы, сверканье брызг,
каким широким гулом выстрел звучен!
Как ясен звук и как благополучен —
что лай лисицы, что картечи визг.
Щемящее родство живых идей
умело бы собою объяснить,
но только вот убитая лисица
и тень наяд, кружащихся над ней,
мешали думать. Говори светло,
считай убийство девственной жертвой,
а только воздух, без сомненья мертвый,
и у ружья — дымящее жерло.
Плыви же, сом, и в жабры пропускай
паскудность жизни, тишину над лесом,
плыви же, хоть не смыслишь ни бельмеса,
хоть ты слепой. Плыви себе. Пускай.

Когда на подоконнике кутью,
открыв окно в стрекочущую полночь,
оставят мне — бесхитростную помощь,
я сытым лягу в шаткую ладью.

А звёзд крупя ячменная судью
своих красот искала разве? Полно,
к чему пытаться думать, если волны
— щенята чёрные — влекут к небытию.

Что человек? Сложенье внешних сил,
приложенное к трепетной лампадке.
Такой судьбы ли он себе просил?

И что мог сделать, что держал в руках?
Нас топчет страх, но мы взнуздали страх —
в противоречиях возвышенны и падки.

Свистала утром в доме флейта,
как голос неумелый чей-то,
который силился взлететь
воздушным шариком на нитке,
игрушкой ветра, чьи попытки,
как тоника, держала твердь.

Так мальчик, не умея плавать,
хотя тиха и сонна заводь,
боится — сделав два гребка,
назад плывёт к причалу. Скоро
в гнилое дерево опоры
вцепляется его рука.

Но шарик продолжает биться,
и флейта не утомонится,
и мальчик переводит дух,
чтобы, фырча в воде цветущей
и взбаламучивая гущу,
свершить гребков поболее двух.

Он поплывёт в воде как рыба,
и флейта распоётся, ибо
у шарика порвётся нить.
А если не порвётся — что же?
Он биться прекратить не может.
Дай бог и мне не прекратить.

Что ни утро, думаешь: жизнь — копейка,
но идёшь выгуливать пса под дождь,
из окна соседский глядит котейка
на тебя и пса, как солдат на вошь...
И вы знаете, как-то обидно, что ли!
Столько сил потрачено — нешто зря?
Ты прилежен был, ты учился в школе,
переплёт подклеивал букваря,
ты стихи писал — кто сказал плохие? —
вон собака любит тебя, кажись,
и пятёрка в школе была по химии,
и вообще ещё так возможна жизнь.

Пение и дым

Молчать привыкший, козопас своих
строптивых коз на склоны гор выводит.
Единобожие в его простом изводе
к псалму спокойно добавляет стих.
Он, в шубу кутаясь, грызёт сухой чубук,
а солнце совершает полукруг
над козами и старой головою,
и жизнь идёт как бы сама собою.
Зимой здесь ветры, но весной теплее.
В зарытой амфоре под мандарином зреет,
преображаясь, виноградный сок.
Кого-то на плечах — и за порог
выносят с плачем, а кого-то вносят.
И винограда медленно лоза
растёт, и далеко глядят глаза...
Так далеко, как даже и не просят.

Я не был там. Мне незнаком их быт.
Но к жизни той, спокойной и суровой,
душа моя с младенчества лежит
и тяготится собственного крова.
Ты, верно, покривишься — и не зря.
В наш век подобной жизнью жить нельзя,
не то чтоб невозможно, но не нужно.
Мы за полярным кругом города,
которых не видали никогда,
построить можем, навалившись дружно.
Ты знаешь: за стеклом трещит мороз,
а в ботаническом саду пророс,
проклонулся росток рододендрона.
Атомоход, взрезая грудью лёд,
заходит в порт, на улицах цветёт

каштан, и говорящие вороны
кивают мерно в такт своим шагам.
На зданиях — мозаикой — Шагал,
над городом — на добрых сотни метров.
И корпус инженеров, бредя тем,
что сумма компонентов у систем
гораздо меньше целостной системы,
любовью поверяет теоремы.

Учёный Зимов превращает в степь
лишайники обледенелой тундры,
и тысячеголовые стада,
как реки, обтекают города.
Хотя, пожалуй, это сделать трудно.

Довольно ерунду болтать без толка,
уж вышел срок маниловским мечтам,
их без того с лихвой по старым полкам
фантастики семидесятых. Там
и хлеще было, и наукоёмней,
одна другой стояли многотомней,
и многие в них верили тогда,
но из реки шли тощие года,
и жрали тучных, и хрустели кости.
Одни спились, другие — на погосте.

Ах, горная, суровая страна —
тысячелетия одно и то же.
Надрывным голосом поёт зурна—
тебе псалом, кому ж ещё, о боже.
И козопас, привыкнувший молчать,
выводит коз жевать траву на склоне...

Подобный плетям ежевики,
уступами старец с горы
спускался, и птичьи крики
метались в дыму над вершиной;
от крови тяжки и сыры
полы домотканой одежды —
как листья багровой лещины
с лучами закатными между.

Под ней он прилёг отдохнуть,
но жертвенный дым резал ноздри,
сѣдая проделанный путь.
Детей и овец сгустки дыма,
то прочь отдаляясь, то возле, —
детей и овец обещали,
колеблемы неуследимо
в ревнивой и жадной печали.

Детей и овец — пастуху
чего ещё нужно от бога?
Пил кровь и лизал требуху
огонь, пожирая ягнѣнка;
старик равнодушно и строго
смотрел, но внезапно ему,
как призрак, стоящий в сторонке,
почудился кто-то в дыму.

Опалы слезящихся глаз,
от ужаса зоркими ставших,
старик не щадил. Овцепас
смотрел на мятущийся дым,
на птиц, с поднебесья слетавших...
Детей и овец он просил:
работы пастушьей плоды
горели, и не было сил

стоять перед богом. Упал
старик и очнулся к закату,
и камешков мелких круп
прилипла ко впалой щеке...
По склону, тропею покатою,
подобный плетям ежевики,
спускался старик налегке
под дальние птичьи крики.

Мне кажется, будто я сам
подобен голодному дыму,
что жив, лишь покуда глазам
твоим представляюсь живым,
что вера мне необходима,
как зеркалу — взгляд в отраженье;
без веры есмь дым, чѣрный дым,
и птиц над клубами круженье.

Когда распятый бог не воскресал,
душа — не гостя в оробелом теле,
но рождена от плоти. Так кристалл
в насыщенном растворе еле-еле
день изо дня растёт, вбирая соль,
и соли вырастает соприсущим...
Мешать не смей! Договорить позволь,
да — соль, кристалл, душа, куда уж пуще:
так важен гусь, что шеи не склонит!..
Но всё же, если так, то нет и грани
между искусством и природой — нить,
нить силлогизмов мне ладони ранит,
кровь капает, земля, впитав её,
со мной невольно делит бытие.

Нет неестественного — трактор, космодром,
сеть паутины, винтокрылый дрон,
леса, сведённые под корень человеком,
плотины на реке, биоценоз,
как ветхий дом, отписанный на снос,
и наша запоздалая опека
над теми из зверей, кого уже
увидеть легче в ярком мираже
кинопроектора, чем под открытым небом, —
всё это суть природный механизм,
в её руках безвольное орудье,
едва осознающее трагизм,
бессильное исправить что-то, — люди.

И если так, то бесконечно мал
я сам; и лишь невзятый интеграл,
непонятая целостность осколков
стремится к пониманию себя,
пусть думают, что бог, людей любя,
дал волю нам. О нет! Не дал нисколько.

Нам немного смешны их надежды воскреснуть
через тысячи лет в обожжённых песках,
почерневшая плоть, иссушённые чресла,
знаки власти в их немощных, узких руках.

Нам немного смешна эта вера, что кто-то
из бессмертных богов поведёт их на суд;
и ладья, приготовленная для полёта,
и молчащее сердце хранящий сосуд.

О, молчи, сокровенное сердце, ни слова
не свидетельствуй против меня на суде!
Крокодил почитает законным уловом
что ни плавает в илистой нильской воде!

О, молчи, моё сердце! Сводить ли нам счёты?
Невесомей пера легкокрылой Маат
на поверку явись: я бежал ли работы?
Я ни в чём, злоречивое, не виноват.

Уж не мы ли те звероголовые боги,
что вершат над умершими праведный суд,
и не мы ли — с иссохнувшим сердцем — в итоге
распечатываем золочёный сосуд?

Уж не мы ли внимаем мольбам и проклятьям
— равнодушны! — сквозь тысячи, тысячи лет.
Но египетский анх так похож на распятие,
что песчаным ненастьем взмывается бред.

О, как тщились вы смерть самоё одурачить!
Но — задуматься — многие ли имена
эта старая трудолюбивая прачка
не смогла отстирать со времён полотна?

И не сфинкс ли царит над Невой, как над Нилом,
тем же гордым, кошачьим, недремлющим сном?
Он считает реки полноводной разливы,
орошающие наш полунощный ном.

Подарил мне свои глаза
тот, чей взгляд был особо зорок.
— Одолжайся! — так мне сказал
мой приятель, палеонтолог.

Как в пещерах зажёл я свет,
как в глазницы вложил я зренье?
Для меня и ответа нет —
и вопрос потерял значенье.

Но я видел, как известняк
раскололся со страшным звоном,
оттого что внутри набряк
пышный папоротник Девона.

Я на птицу взглянул — она,
стрекоча, показала зубы.
Трилобитов морского дна
я давил каблуками грубо.

Как хрустел под пятой хитин!
Как дрожали крыла стрекозы!
Буйный калейдоскоп картин,
виноградин тяжёлых гроздь.

И, клянусь, я увидел связь
между гейзером, век от века
окроплявшим росой грязь,
и рождением человека.

А в пещерах огонь дымил,
но горел и светло, и просто:
закоснелый и скучный мир,
шевелился, отряхал коросту.

Я стоял и вздохнуть не мог,
потому что в пещеры стайно,
как собаки садясь у ног,
заходили живые тайны.

Оторочена золотым
зелень крыш, чешуя куполов,
а в храме опять — песнопенье и дым,
и кружащийся в сумраке часослов.
Тюрбаны из змиевой кожи,
пишки сосен — зелёные купола.
С большекрылою птицей схожа,
подымается медленная хвала.
А шатры колоколен будто из полотна —
воздух гуляет в прорезях, а полотно — из льна;
выбелены белее белого колокольни,
будто девушки заспанные, в смятом со сна исподнем —
разбудило громом, выбежали во двор
и стоят, обнявшись, вот до сих пор;
в восторге ли, в страхе — смеются
(кружевные рубахи, белые плечи!),
смеются, и звоны льются,
как девичьи речи.
А напротив Ильинской церкви — арифмометр, механизм,
планового хозяйства рациональный счёт,
так стоит недостроенный, законсервированный коммунизм,
и по рёбрам его бетонным время смолой течёт.
Так же чёрные дыры около центра масс
пляшут, сжимая, бьются, сжимая круг,
и от их столкновения волны бегут до нас,
привнося аритмию в ровный сердечный стук.
Так купцовская церковь глядит на советский храм,
так обком осквернённый хмуро глядит в ответ,
так, на площади стоя, скажешь гостям-ветрам,
что ни бога, ни смерти, ни бога, ни смерти нет.

Художник прав. Распахнутое в ночь
окно в облупленной, щелястой раме —
вот образ бога. Не спеши с дарами
и похвалой уста не опорочь.

Ни смальта, ни лазурь, ни ровный взгляд,
ни светлый лик, ни тёмная олифа —
ничто верней не выражает мифа
о боге, чем растресканный квадрат.

Но вот по тучам ниспадает свет,
как складки ткани с мраморного торса,
и — с робостью — для вечного вопроса
сморкает приготовленный ответ.

Как трудно жить без детской веры в то,
что я, по крайней мере, буду понят.
Рассудок будто в тёмных водах тонет,
хватая воздух посиневшим ртом.

Пускай квадрат. Пусть чёрная дыра.
Пусть бога нет — есть только дым и пенье,
есть не обман, но олицетворенье,
и духа есть свободная игра.

Пускай квадрат, но где-то ж есть межа,
и каждый дачник яблоч урожай,
чуть осень, так разносит по родным...
Хотя есть только пение и дым.

В потайных местах, высоко в горах,
где воздух морозен и чист,
на больших изогнутых зеркалах
галактик дрожат лучи.

Астрономы им имена дают,
чудовищ и дев имена, —
и за ночь к небесному словарю
страница доплетена.

А когда рассветная бирюза
созвездий сметает узор,
сняв очки, бессонные трут глаза
и прячут зеркальный взор,

будто зрак циклопа, бетонных век
смежая броню дотемна,
и плывут течением млечных рек
раздаривать имена.

Звездочётов чтящий благой Алла
дарует им праведный век,
и к себе под синие купола
берёт их хан Улугбек.

Здесь он жил под тяжёлой стеной
отсырелого известняка,
покупая спасенье ценой
непомерной, но наверняка.

Настоятельно увещевать
надоело — и вот он как зверь
на цепи: ему кров и кровать —
дуб и листьев подстилка теперь.

Как он горд униженьем своим!
Хуже пса, что объедками сыт.
Жаждой святости как он томим!
Гнусом съеден, дождями омыт.

Но дороги лесные торя,
богомольцы за мелкую медь
добредают до монастыря
и спешат на него посмотреть.

И батрак — не преступник, ни вор¹ —
немо плачет до вспухнувших жил,
потому что дожил до сих пор,
потому что несправедно жил.

¹ подражание старой грамматике: «не..., ни...» в значении
«не... и не...»

Там, где на ерики и рукава
распадается русло большой реки,
где астраханская татарва
от набегов пряталась в тростники,

где встрепенуть бы птиц, всполошить бы птиц —
не осталось бы синего лоскута:
мелководье и рыба — из всех столиц
самая сытая — там, у пернатых, там.

Там, по этой путанице проток,
шлёпая редко вёслами по воде,
плыл научный сотрудник, задумчив и одинок.
Мошкара роилась и путалась в бороде.

Он оставит вёсла, посмотрит на стайку рыб,
что проносится мимо, металлом впотьмах горя,
поглядит, сощурясь, на ту из воздушных глыб,
что качается в чае закатного янтаря,

отхлебнёт из термоса и, комара согнав,
подналяжет на вёсла, лодку отправит в путь.
Среди заводей, омутов, ериков и канав
плыл учёный, со дна поднимая речную муть.

И покуда сумерек загустевал кисель,
колотушкой он трогал воду, рождая гром, —
потайной подлодкой, с трудом избегая мель,
на поверхности показался огромный сом.

Говорил ему человек: — Ты живёшь впотьмах,
триста лет промышляешь молодняком, икрой...
Расскажи мне, рыба, тебе ещё ведом страх?
Отвечала рыба: — Ведом и страх порой.

Видно, сом понимал по-русски, и потому
он сказал, раздумав: — Того одного боюсь,
что я, звёзд не увидев, зимою на дне помру, —
жабры хлюпали, дёргался длинный повисший ус.

— Но боюсь и смотреть, как звёзды проткнули мрак.
А биолог, закинув голову, отвечал: — Сотни раз
я их видел, роящийся зодиак...
Светлячки в черноте. Велика ли твоя печаль?

В полутьме он нашарил трубку, поджёг табак,
комаров отгоняя дымом, курил, молчал.
Стало холодно. Сом вдруг сказал по-татарски так: —
Велика, — он сказал, — велика, человек, печаль.

Пересвистывались птицы ночные, ветер
прикаспийский ходил среди пресноводных трав,
осторожно ступая. Солён, затаён и щедр,
он, подслушав, гадал теперь — сом, человек ли прав.

Но спросить было некого, думать же не привык
тихий ветер — шагал, камышом шурша,
золотоордынский нашёл он в грязи ярлык
и колючего, будто звёзды, во тьме ерша.

1
Мы, ловчими сетями спутав тигра,
пугая полосатого огнём,
и палками, и медью заострённой,
влекли того по улицам, где игры
теней, казалось, плакали по нём,
как плачут жернова, скрипя, — по зёрнам.
Мы бога заводили в города,
как дичь лесную — весело и страшно.
Никто не знал, зачем того ведут,
но очеса блестели, как слюда, —
приподымая голову от брашна,
бог совершал свой справедливый суд.

2
И вот, в пыли, взметнувшейся над дорогой,
в копоты, облизывающей жертву,
стали видны очертанья бога,
бога пустыни, бога живых и мертвых.
Ревнитель народ берёг свой, как пастырь — стадо,
и резал овец, когда ему было надо.
Жестоковыен, чадолюбив и строг,
он над кремнистой пустошью шёл самумом,
а где-то волчица выкармливала Рума,
Ремуту подставляя пустой сосок.
Легионеры шли верховым пожаром,
реки, вскипая, дышали ухой и паром.
Воды Евфрата и Нила, вспенясь,
влились струёй во всклоченный Иордан,
и за берега, как вольнолюбивый Тетис,
он вышел и затопил очертанья стран.

3
И что-то сменилось в сутолоке небес,
так что из дерева

где-то на севере
ставили срубы, с тёсом и куполами,
со стругаными полами
(говорят — воскрес!),
с луковками в чешуе шишаков еловых
в небесах лиловых.
И вот уже мужество нужно сказать — увы,
за пределами смерти нет ничего, помимо
смерти самой, неразтворимой мглы,
что духу чужда и глазом неодолима.
И только на языке исчисления звёзд,
на языке бесконечности и предела,
можно сказать, что мир несравненно прост,
и формулу нацарапать обмылком мела.

Галилеянин, хочешь сказать, распят,
но не воскресал?.. И тело его, закутав
в полотнище смерти до сухожильных пят,
тайком унесли из гроба в ночную смуту,

когда поднимался ветер, и темнота
на пламенники бросалась, рвала когтями;
как нижняя челюсть, свёрнутая плита
проход открывала внутрь, к погребальной яме.

И, хочешь сказать, полночные бденья зря?
Церквушки по сёлам с синими куполами,
занявшаяся от свечек во мгле заря,
как тление льна над северными холмами.

В промозглой квартире, в тазике, в наготе
московский интеллигент принимал крещение;
священник гудел молитвы, кружились те,
стояло на кухне скромное угощенье —

зачем это было трепетно и светло,
когда над пустыней не просияло чудо,
бесстыдно, бессудно средь человецев зло,
и сребреники считает впотьмах Иуда.

И как я могу не верить тебе, мой ум?
Оставшись без бога, храм есть кирпич и щебень.
Пожарищем, местом отбушевавших дум
смотрю на сгоревший мир, что бывал волшебен.

разум

Утешься! Священный трепет тебе не чужд,
затем он и дан, чтоб мог человек подняться
над эгоистичной глупостью плотских нужд,

увидеть себя — кичащегося паяца.

Увидеть — и устыдиться. Утешься же!
Пускай флогистона нет, на его основе
рождалась термодинамика. Стар сюжет
у пьесы — пускай, зато персонажи внове.

К примеру, рачки сквозь жабры прогнали весь
большой океан, едва ли считая годы,
осела на дно мутившая воду взвесь,
и копыя лучей пронзили морские воды.

Тогда расцвели глубины, а до тех пор
лишь мёртвые рыбы случайно встречались в толще.
Представь же: рачки заводят о смысле спор —
отсутствие смысла делает жизнь их горше.

Белковая форма жизни нашла предел,
создав микросхемы, приводы, композиты:
вдохнём в нейросети душу и не у дел
останемся мы, своим же твореньем — биты.

Пускай же тогда и судят нас. Страшный суд
для праведников откроет ворота рая,
и бога — того, которого создадут, —
да узрят сердца, во трепете замирая.

вместе

— Твои утешения хуже, чем едкий яд,
и путаны, как схоластика парижан.
— Мольба твоя так саднит, что я выпить рад
твой гасящий разум опиумный дурман.

Содержание

Содержание	3
Белая мгла.....	3
I.....	3
На Елагине желудей, как на дачах — яблок	3
Кто их клеил друг на друга, слой за слоем?	4
С чего начать? Я помню, рисовал.....	5
— На что похожа лестница? — На доску	6
Жара такая крепкая, что птицы	7
Неравновесен мир. Движеньё звёзд.....	8
Огромных окон не жалея свет	9
— Зиночка, сделайте кофе, заладил дождь.....	11
Темна вода во облацех.....	13
Это магазин	14
Как жаберную щель на остановке	15
Старик, я помню, крысу убивал	17
Я рос во время разочарований.....	18
Встречаю иногда красивых старых женщин	19
Обычный горшок и ссохшийся ком земли.....	20
Останемся дома, где свет и вода	21
Многоэтажки ясеней блещущим воздухом остеклены.....	22
Жукам пришла пора зажечь фонарь на брюшке.....	23
II.....	24
Гроза в степи — безделка не безделка.....	24
Что думал самолёт, когда его.....	26
Каракорумский хан поутру выпивает блюдце	27
Пальцы замёрзшие грел над жаровней	30

Эх, а вот бы был я пряничный.....	31
У охотника Вучича в деревне.....	32
Темна вода во облацех.....	35
Дочке в школе прочитать задали.....	36
Эй, добрый старик, эй, Зенги-баба.....	37
Говорят, в Каире есть торговец.....	40
В том-то и дело, что всё происходит исподтишка....	41
III	44
Программист Валера пишет на Си-плюс-плюс.....	44
Мне нужно утром выгулять собаку	46
Я во сне бродил, вижу — лес, а там.....	47
IV.....	48
Без навигатора было бы сложно, но с телефоном....	48
Целый день, как маленький зверёк.....	49
Блоков бетон, панельная пятиэтажка.....	50
Жилья настроили: светло в нём и отрадно!	51
Стены побелку слабо осветив.....	52
В городе людном я взгляд уловил нечеловечьих глаз	53
Распался сон. И молчаливый сонм	54
Когда на подоконнике кутю.....	55
Свистала утром в доме флейта	56
Что ни утро, думаешь: жизнь — копейка	57
Пение и дым.....	58
Молчать привыкший, козопас своих.....	58
Подобный плетям ежевики.....	60
Когда распятый бог не воскресал	62
Нам немного смешны их надежды воскреснуть.....	63
Подарил мне свои глаза	65

Оторочена золотым.....	67
Художник прав. Распахнутое в ночь.....	68
В потайных местах, высоко в горах	69
Здесь он жил под тяжёлой стеной	70
Там, где на ерики и рукава.....	71
Мы, ловчими сетями спутав тигра	73
Галилеянин, хочешь сказать, распят	75

Иван Коновалов

Белая мгла

16+

Корректор *Ольга Коробкова*

Вёрстка *Михаил Рантович*

Подписано в печать 01.12.2021

Формат 60х90/16

Усл. печ. л. 5

Тираж 200 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в АО «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, д.
42, кор. 5
Тел.: 8 (499) 322-38-30